

Friedrich Naumann
STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT



РОО ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ



Бизнес и Мысль

Rainer HANK

Link,
wo das Herz schlägt

INVENTUR EINER POLITISCHEN IDEE

Knaus

Райнер ХАНК

Слева, где бьется сердце

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕИ



·МЫСЛЬ·
Москва

УДК 329.055.4

ББК 66.6

X19

Friedrich Naumann
STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

Книга издана при поддержке
Фонда Фридриха Науманна за свободу (Германия)



РОО ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ



Бизнес и Мысль

Перевод с немецкого: Леонид Карин

Ханк, Райнер

X19 **Слева, где бьется сердце : инвентаризация одной политической идеи** / Р. Ханк ; пер. с нем. Л. Карина. — Москва : Мысль, 2018. — 238 с.

ISBN 978-5-244-01194-4

Что означает сегодня быть левым? До сих пор под понятием «левый» подразумевается «справедливый», «экологичный», «социальный». Каждый хочет быть таким, но каков он на самом деле? Райнер Ханк рассказывает свою собственную «левую» историю и «левую» историю своего поколения, сопоставляя ее с затишьем настоящего времени. При этом он проводит запоздалую инвентаризацию влиятельной политической идеи.

Как пишет автор в предисловии: «О чем эта книга? О том, на чем были основаны наши политические убеждения? Как мы оценивали их? Как возникла наша “левая” картина мира? Когда в ней появились первые трещины? И когда я стал либералом?»

УДК 329.055.4

ББК 66.6

ISBN 978-5-244-01194-4

© Мысль, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

I. Почему мы многое видим, но не замечаем того, что имеет решающее значение. Почему хорошо иметь мировоззрение и как мои родители стали обладателями посудомоечной машины	7
II. Почему алчность делает сердце холодным и где живет тепло. Почему красивые женщины сплошь левые и как это связано с нашими ценностями	24
III. Почему свобода вещь трудновыносимая, а платоновская пещера остается столь желанным местом. Почему конвертиты (не) предатели, и какие претензии свечная промышленность имеет к солнцу	78
Апории левых проповедников равенства	157
Апории критиков экономизации	165
Апории справедливости достижений	180
IV. Почему детский труд — это хорошо, а GOOGLE не злюка. Почему банкам нужно дать укорот, а Дэн Сяопин сделал для бедных больше, чем Мать Тереза	198
(1) Primagk как помощь в развитии	202
(2) «Монополия», или Страх перед Google	210
(3) Приватизированные доходы, социализированные долги	215
(4) Зависимость от протянутой руки помощи	219
V. Какие книги были особенно важны для написания этой книги	226
VI. Какие люди были важны для этой книги	233
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	234

I. ПОЧЕМУ МЫ МНОГОЕ ВИДИМ, НО НЕ ЗАМЕЧАЕМ ТОГО, ЧТО ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ. ПОЧЕМУ ХОРОШО ИМЕТЬ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И КАК МОИ РОДИТЕЛИ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Мы часто не видим того, что происходит на самом деле. Или замечаем это с большим опозданием. Я, например, не заметил того факта, что 1972 год, когда я наконец-то получил свой аттестат зрелости, стал решающим событием не только для меня, но и для всей мировой истории. Мои современники этого тоже не заметили. Если бы мы это заметили, нам нужно было бы весело отпраздновать не только нашу зрелость, но и окончательное завершение послевоенной вечеринки. Лучшее бы уже все равно не стало.

Именно в 1972 году с Германией распрощалось «экономическое чудо», этот исторически уникальный бум послевоенных лет, принесший немцам гарантированную полную занятость, обилие потребительских товаров и завидный ежегодный экономический рост. Отцами этого успеха были прилежание травмированного войной, поражением, бегством или пленом поколения и счастливое сочетание обстоятельств в мировой экономике. Иностранцы рабочие, чьих детей мы в нашей начальной школе называли «юго» и «итакер», помогали немцам справляться с тем большим объемом работы на заводах и фабриках, который был необходим для того, чтобы удовлетворить потребительские пожелания и социальные запросы общества, добившегося материального благополучия.

Уже в конце 50-х годов мои родители могли позволить себе как минимум пол-автомобиля; вторая половина принадлежала тете и дяде, жившим за углом. Позднее, в середине шестидесятых, к радиоприемнику добавился телевизор («Nordmende»), и в конечном итоге даже еще и посудомоечная машина, которую мои родители постоянно как-то сторонились, как будто им надо было защититься от обвинений в том, что они по причине собственной лени не хотели мыть посуду руками. А вместо поездок в Австрию в пансионат с завтраком мы

в середине 60-х, как и многие другие немцы, предпочитали поездки в Римини, где при выборе такого адриатического варианта альпийского пансионата средств, к сожалению, хватало лишь для третьей линии — с видом на железную дорогу вместо моря. Но как бы то ни было: мы кое-чего добились, а я в конечном итоге — даже аттестата зрелости.

1972 год стал последним хорошим годом. После этого началось наше настоящее, каким мы его знаем сегодня. Инфляция и безработица пришли в наш мир, а рост сказал нам «до свидания». Эти далеко идущие перемены в экономической ситуации изменили и страну, и людей. Сначала появилось беспокойство, потом скепсис. А прогресс как-то испарился. Родители стали переживать из-за будущего своих детей, опасаясь того, что они не смогут сохранить достигнутый социальный статус. Многие опасаются того, что люди могут разрушить божественное творение навсегда. А там, где появляется страх, увеличивается потребность в безопасности, а готовность рисковать идет на убыль.

Прошло достаточно много времени, пока мы заметили, что все изменилось. Глубокие исторические перемены, если они не связаны с войнами, редко воспринимаются современниками сразу и непосредственно. А признаки этих перемен 1972—1973 годов проявлялись довольно слабо. Мы, правда, заметили, что в некоторые воскресные дни уже нельзя было ездить на своем автомобиле. Пустые автобаны, дети, играющие на полосе обгона, — для целого поколения это стало таким впечатляющим опытом, о котором те, кто принадлежит к этому поколению, любят рассказывать и сегодня. Но что все это означало? Мы смотрели на происходящее как на единичное явление. Ведь потом уличное движение возобновлялось в прежнем режиме.

Если и старики этого не заметили, то как могли мы, девятнадцатилетние, заметить что-то из происходящего, когда держали в руках наш аттестат зрелости, который мы, к слову, должны были забрать сами у секретаря в приемной директора школы. Не потому, что указанный директор («Rex») был настолько лишен вкуса, а потому, что наши предшественники (будь то три или четыре выпуска до нас) изгнали из школьной жизни все ритуалы празднования окончания школы

с костюмами и струнным оркестром как буржуазные атрибуты. Я после этого позволил себе взяться за изучение католической теологии и литературоведения, не имея ни малейшего конкретного представления о будущей профессии. Наличие «цели карьерного роста» — сами мы эти слова никогда бы не произнесли — не было необходимым в старом мире всеобщей занятости до 1973 года. Ведь работу и профессию люди приобретали как нечто само собой разумеющееся; так что все должно было образоваться само собой. Я хотел понять «всю мира внутреннюю связь» — и после этого его изменить и нужным образом улучшить. Ведь в конечном счете мы тогда были левыми. А тот, кто был левым, искал лучший мир. Как-то так.

С тех пор прошло больше сорока лет. Я давно уже не левый. В какой-то момент я стал либералом. С субъективной точки зрения мы, как уже было сказано, тогда, в этом 1972 — последнем хорошем — году совершенно не ощущали того, что мы живем в лучшем из миров. Если бы кто-то стал это утверждать, мы бы заклеили его («аффирмативно», добавили бы мы) как консерватора. «Аффирмативность», почти ругательство, означала нечто противоположное критическому подходу. Тот, кто хотел быть настроен критически (а кто этого не хотел?), знал, что этот мир нужно было в обязательном порядке изменить, ибо то общество, в котором мы жили, было плохим обществом.

Для этого было достаточно посмотреть в сторону Вьетнама, где американцы вели несправедливую войну, используя свои кошмарные напалмовые бомбы. Или на Латинскую Америку, где помещики эксплуатировали простых крестьян. Или на «Третий» мир, который и после завершения эры колониализма по-прежнему эксплуатировался «Первым» миром, по причине чего живущие там люди были обречены на то, чтобы всегда оставаться бедными. Или бросить взгляд на компанию Даймлер в Унтертюркхайме, где рабочие занимались чуждым им трудом, тупо надрываясь у конвейера в цехе, стены которого по указанию («аффирмативных») психологов были окрашены в светлые тона, поскольку эти психологи в своих, служащих интересам капитала исследованиях обнаружили, что такие светлые тона мотивируют работников и делают их труд более производительным.

Короче: «система» хромала на обе ноги, политическая система была больной, а экономическая тем более. Капитализм причинял намного больше вреда, нежели обеспечивал преимущества (если таковые вообще были). Нашим стандартным примером в дискуссиях в старших классах школы были лампочки накаливания и нейлоновые чулки, которые произвольно рассчитывались капиталистами на определенный срок службы, хотя технический прогресс давно уже сделал возможным производство вечно горящих ламп и никогда не рвущихся чулок. Капитализм создает себе свой собственный спрос, встраивая в свою продукцию *извращенным* образом механизм разрушения. Какое *извращение*. Человечество давно уже было бы в состоянии полностью удовлетворить свои материальные потребности, но у капитализма в этом не было никакой разумной заинтересованности.

Экономикой мы тем не менее интересовались достаточно мало. В любом случае у нас не было такого ощущения, что для того, чтобы стать крупным критиком капитализма, было бы полезно иметь хотя бы некоторые базовые представления об экономике. Это, скорее всего, было тогда характерно для всех нас, студентов философского факультета. Вместе с Адорно мы начинали с общего целого, которое, как известно, было неверным. Тому, кто смог добраться до таких высот «негативной диалектики», не было больше нужды отправляться в низины теории экономического роста. Среди левых экономистов и социологов это уже тогда было не так; они ведь читали своего Маркса. Сегодня это определенно не так. Во всяком случае, те левые (и не только интеллектуальные протагонисты, но и умные блогеры и активисты *Attac & Co.*), участвующие в широкой дискуссии наших дней о справедливости, неравенстве и распределении, делают это явно на более высоком интеллектуальном уровне, чем мы тогда. Сегодня, когда я уже не левый, левые в интеллектуальном смысле стали сильнее. Но понятие «быть левым» включает в себя, в общем-то, достаточно много: тогда речь шла обо всем, о прорыве. Сегодня речь идет об определенных вещах: неравенстве, справедливости, глобализации и тому подобном.

О чем я намерен говорить в этой книге? То, что сегодня не дает мне покоя, это вопрос о том, на чем мы, собственно,

строим наши политические убеждения и как мы к ним приходим. Как могла возникнуть наша левая картина мира? Когда в моей картине мира появились первые трещины? И когда я стал либералом, претендующим на то, что идея свободы сегодня в состоянии лучше реализовать тогдашнюю левую утопию, но, разумеется, не таким образом, как мы хотели сделать это тогда? Эта инвентаризация воссоздает биографические процессы развития и жизненные хитросплетения, отражает вопрос о том, откуда, собственно говоря, происходят ценности, обращается к ходу современной истории и становится в конечном итоге апологией либерализма. Она обращается к презирающим его левым и представляет собой попытку если не привлечь противников на свою сторону, то как минимум убедить их в моральной серьезности. Либерализм не должен позволить морализму левых лишить его права претендовать на обладание лучшей концепцией справедливости. Обвинения в бессердечии надо страстно и умело парировать.

Нашей принадлежности к левому флангу никогда не предшествовало сознательное решение, как если бы нужно было пройти тест (или определиться с помощью своего рода общественно-политического онлайн-ового предвыборного приложения «*Wahl-O-Mat*»), где пришлось бы ответить на пятьдесят вопросов, чтобы в конечном итоге определиться со своей политической принадлежностью к правым, левым или либералам («зеленых» тогда еще не было). Эту принадлежность к левым наше поколение немцев, родившихся в 50-е годы, приносило с собой уже со школьной скамьи как нечто само собой разумеющееся. Конечно, мы восхищались активистами 68-го года, к числу которых мы не принадлежали. Наблюдали разговор Руди Дучке на крыше автомобиля во Фрайбурге с Ральфом Дарендорфом — эмоционально находясь на стороне Дучке — по телевизору, и, конечно, мы каждый раз были как-то опечалены тем, что активисты 68-го — это первопроходцы, которых нам уже никогда не догнать. Но зрителями, наблюдающими за происходящим из-за ограды, чтобы использовать метафору Райнхарда Мора, ни я, ни мои друзья по школе себя не ощущали. Это было бы проявлением полной пассивности. Мы хотели быть участниками. Возможно, в качестве эпигонов (хотя и это уже звучит слишком

пораженчески) или как «помощники противовоздушной обороны» движения активистов 68-го года, как считает Ульрих Раульфф, что звучит уже более адекватно, поскольку таким образом затрагивается определенный цикл повторяемости военного поколения наших отцов. Помощники сил ПВО вермахта тоже ведь отправлялись служить с полным восторгом. Нам в последний момент еще удалось принять в этом участие, и мы этим не только гордились, но и, если брать человека моего склада, были достаточно честолюбивы, чтобы искать признания у людей старшего поколения. Если бы нас сегодня назвали «попутчиками», которых тогда уже рекрутировали попутчики, то это не было бы совершенно неверно. Но меня бы это все-таки немного обидело, поскольку задним числом новые попутчики очень любят нападать на попутчиков, которые были до них.

Так во время зимнего семестра 1972 года я оказался в городе Тюбинген (недалеко от Штутгарта). Я и сейчас еще ощущаю запах осени, исходящий от уже гниющей листвы в старом Ботаническом саду, через который надо было пройти по дороге от «Медного дома», большого здания с лекционным залом, или «Клуба», в Старый город. На семинаре по лингвистике его руководитель в первую неделю семестра представился со словами: «Я Герд», что показалось мне несколько странным, поскольку до этого момента мы привыкли обращаться ко всем нашим учителям на «Вы». Хотя нет, это не так. К молодому стажеру, который преподавал политологию и историю, мы тоже могли обращаться на «ты» — и он тоже был левым, из чего уже следовало, что Герд просто обязан был быть левым, что вскоре стало еще более обязательным, поскольку наш семинар должен был в качестве основного предмета заниматься социолингвистикой — анализом языка социальных классов и языка угнетения. Одновременно с этим использование обращения «ты» должно было устранить иерархические различия. Необходимость выступать в качестве авторитета, признавать разницу между распоряжением и подчинением вызывала у многих из поколения моего руководителя семинара, истинных активистов 68-го, нешуточный страх. Они хотели быть по-настоящему равными среди равных. Они не хотели ставить оценки, ибо

это было бы проявлением власти. Они не доверяли конкуренции и рассматривали неравенство как угрозу. «Я один из вас, — хотел сказать нам Герд, — я не ставлю себя выше вас только потому, что я руководитель семинара». Это «ты» было не столько жестом демонстрации доверия, сколько проявлением внутренней потребности избежать различий. Иногда, не в случае с Гердом, это «ты» было просто отражением того обстоятельства, что руководителю семинара на самом деле нечего было сказать и нечему было научить слушателей; так сказать, проявлением настоящего равенства.

С этой арабеской, обращением на «ты», задним числом оказалась связанной амбивалентность левения (возможно, любого окружения, в котором оказывается молодой человек): От среды всегда исходит не только то облегчение, которое приносит с собой любой опыт сопричастности, но в каждом случае и принуждение, давление приспособления. Заявление, что кто-то хотел бы лучше обратиться к руководителю семинара на «Вы», не понравилось бы другим студентам. Я, например, не решился бы выступить в качестве такого аутсайдера. Скорее, я про себя проверил бы, могла ли лицензия на обращение на «ты» создать между всеми нами политическую — «содержательную» — близость, которая оправдывала бы общение на «ты» по существу.

Ролан Барт в своих автобиографических афоризмах «Ролан Барт о Ролане Барте» (*«Über mich selbst»*), пишет, что в прошлом его воображение захватывала не необратимость ушедшего времени, а несокращаемость того, что с тех времен и уже тогда присутствовало в одном человеке: «темная обратная сторона меня самого». Она, эта сторона, приводит человека в состояние «вызывающей беспокойство осведомленности» о себе самом. В этой книге для меня, разумеется, целью является не простой взгляд назад на, в лучшем случае, захватывающую для автора, но не для окружающих жизнь, а набросок пережитого за сорок с лишним лет современной жизни, который, правда, использует местоимение «Я» ради субъективного подтверждения правдоподобности, а также для того, чтобы обозначить перспективу того места, с привязкой к которому формулируются опыт, осознание и рефлексии. Но в формулировке Барта содержится слишком

мало для моих целей, поскольку для меня речь идет не столько о «темной обратной стороне меня самого», сколько о поддающемся обобщению опыте моего поколения. Как мы для самих себя объясняем сегодня возникновение само собой разумеющегося характера левизны того времени, которая при взгляде назад именно из-за этого своего само собой разумеющегося характера имеет некие вызывающие беспокойство хорошо знакомые черты? Хорошо знакомые, поскольку мы еще хорошо помним самих себя и наши взгляды, как если бы все это было вчера: как мы, во что бы то ни стало, хотели изменить, улучшить и революционизировать общество, капитализм, церковь, политику и при этом каким-то образом добиться собственного освобождения. Я и сегодня хочу относиться ко всему этому серьезно. Беспокоит, однако, то, в какой абсурд мы часто верили, в каких догмах мы утверждались, ничего не понимая, ибо в этих фразах понимать было нечего. Беспокойство вызывает и то, как могло случиться так, что мы, выросшие с уверенностью в своем неотъемлемом праве подвергать сомнению всё и вся, не хотели или не могли подвергнуть сомнению само собой разумеющийся характер левизны.

Отсутствие сомнений в правильности левизны было тогда, очевидно, общим для всех представителей моего поколения: левая среда была для нас своего рода трансцендентально заданными рамками, внутри которых мы вращались в нашу жизнь. Мы обнаруживали себя в этих рамках, выйти за их пределы было невозможно даже в мыслях: как выглядел бы мир за их границами, из которого мы могли бы занять позицию по отношению к нашему ценностному космосу?

Мой отчет — это не еще одно, или, в крайнем случае, очень косвенное признание слишком поздно объявившегося активиста 68-го года. К исследованиям времени — научным, литературным, коллективным, индивидуальным — мне ничего добавлять не надо. Название книги «Слева, где бьется сердце» на самом деле представляет собой вопрос: как я, тогдашний средний левый, стал тем, кем я являюсь сегодня: либералом, которого многие чураются как «неолиберала», над которым насмеваются, которого ругают, а иногда и утверждают в этом качестве. Какой объем последовательности убеждений, позиций, ценностей, предпочтений нужен или

есть у одной — моей — жизни? В каком количестве перемен, разрывов, превращений по соображениям правдоподобности и аутентичности нуждается и сколько их может выдержать жизнь? Это проявление мужества или еще одна попытка примазаться к духу времени, заявить, что я сегодня больше не являюсь левым? И почему при этом существует потребность настаивать на том, что то, что было для нас важным тогда, все еще существует и сегодня, хотя и в измененной форме. Во всяком случае, я всегда охотно участвую в дискуссиях, чтобы доказать, что тогдашние «цели» гораздо более приемлемы в либеральном, нежели в левом мышлении и что вполне верно следующее изречение гарвардского экономиста Альберто Алезина: «Левым следует любить либерализм». Мысль, достаточно чуждая как минимум для немцев. Если бы у левого читателя после прочтения моей книги появилось ощущение того, что он знает, что большинство левых на самом деле являются либералами, и почему, я уже был бы очень доволен.

«Что такое левый?» — так звучит вопрос. Что осталось от левого мышления и что сегодня еще может считаться «левым»? При этом, разумеется, можно было бы спросить, почему мне вообще важно хотеть всегда как-то оставаться левым, что скорее всего связано не только с воздействиями и социализациями 70-х годов, но и с тем, что быть левым со времен Просвещения неразрывно несет с собой высокую моральную нагрузку и представляется как-то более ценным по сравнению с очевидным дефицитом утопий консерваторов или даже прагматичным лаконизмом либералов, которые почти что написали антиутопические лозунги на своих знаменах.

Что тогда, собственно говоря, было левым? Нужно освободиться от сегодняшних представлений, где понятие «левый» в большинстве случаев связывается с дискуссиями о распределении из-за растущего неравенства: о том, что богатые становятся все богаче, средние слои катятся вниз, а ножницы расширяются все больше. Тот, кто сегодня задумывается о содержании понятия «левый», думает именно о таких вещах: левые считают неравенство самой большой несправедливостью из всех, которые только можно себе представить, и думают о мерах, с помощью которых можно изменить это негативное обстоятельство — в зависимости

от собственного уровня политической радикализации они будут выступать за налоговую реформу или за революцию (что сегодня встречается реже) или за какой-нибудь промежуточный вариант. «Левый», как можно было бы сказать, это сегодня социально-философская опция.

Об этом мы тогда не задумывались. Или не задумывались об этом в первую очередь. Быть «левым», надо это сформулировать в такой осторожной форме, означало нечто вроде ощущения и выражения собственной жизни. Позицию, которая давала нам ощущение общности. «Левый» означало обещание лучшего мира, которое мы давали друг другу. «Эссе об освобождении» (*«Versuch über die Befreiung»*) — так звучит главный тезис, который нам дал Герберт Маркузе. Один мой старший друг порекомендовал мне эту маленькую книжечку издательства *Suhrkamp* еще в старших классах школы. Я тогда проглотил ее одним махом. Там содержалось выражение «репрессивная толерантность», которое должно было означать, что наше общество особо коварным образом лишает нас возможности знать наши истинные потребности. А именно, навязывая нам с помощью чар всех тех товаров, которые только существуют, фальшивые потребности. Капитализм каким-то образом не дает никому из нас возможности прийти к самому себе и быть с самим собой. Что-то пошло не так, провозглашал Маркузе. Такие слова находили во мне отклик. Такие слова находят отклик в молодых душах во все времена. Один раз Маркузе добрался и до Тюбингена; это случилось, скорее всего, во время летнего семестра 1974 года. Весь Большой лекционный зал был забит до отказа. Я и сейчас еще вижу его перед собой — очень приятный образ, на нем белая рубашка и широкие светлые помочи. Все это выглядело как-то старомодно и одновременно по-калифорнийски.

Я сейчас еще раз просмотрел маркузовское «Эссе об освобождении». И был неожиданно странным образом удивлен. Тон показался мне знакомым, даже симпатичным. Речь идет о том, чтобы «воздвигнуть царство свободы, которое не есть царство современности: освобождение от свобод эксплуататорского строя — освобождение, которое служит построению свободного общества». Конечно, жаргон эксплуататорского строя я сегодня использовать бы уже не стал. Но свобода?

Маркузе, который свел воедино Фрейда, Ницше и Маркса, называет свободу состоянием, при котором «больше не надо стыдиться себя самого». Прекрасная мысль, или? Людей надо избавить от закабаляющего их труда, не приносящего им удовлетворения, но при этом надо высвободить и их извращенные инстинкты. Тон, которым пользуется Маркузе, занимает место где-то между Марксом, французскими сюрреалистами и освобождающим опытом джаза, рок-н-ролла и марихуаны (для этого я был слишком послушным юношей).

То, что он, старый человек, участник Первой мировой войны, и молодые люди в Беркли мечтали каким-то образом об одном и том же, сам он называет «коинцидентом». Маркузе, еврейский эмигрант из Германии, преподававший в Сан-Диего, штат Калифорния, писал о праве человека быть счастливым. Это мы тогда называли «левым». И что для этого необходим акт освобождения, было нам понятно. Нас больше привлекал дух бунтарства, нежели политическая составляющая. Речь шла о борьбе против «истеблишмента», против авторитетов, против «отчуждения», которое имело мало общего с марксовым ясным аналитическим понятием, скорее с достаточно путаными, бурлящими, неясными мыслями, как об этом в резко-критическом тоне говорит американский левый интеллектуал Ирвинг Хауи в своем эпохальном сочинении «Новые стили в левачестве» (*«New Styles in Leftism»*), вышедшем в 1965 году: новые левые воплощают собой стиль того, как надо одеваться, говорить, работать. И еще специфическую культуру легкого отношения к жизни.

Эта, можно сказать, англо-американская бодрость, освобождающаяся от всего, что ей мешает, нам тогда очень нравилась. Моим музыкальным героем в школьные годы был не мягкий Пол Маккартни или жесткий Мик Джаггер, а — в блеске меньшинства — анархический Рэй Дэвис, предводитель группы «*Kinks*». Единственное их произведение, ставшее в Германии хитом номер один, называлось «*Dandy*»: это не была реально левая революционная песня — но все-таки песня бунта в стране экономического чуда. «Денди, денди, ты ухаживаешь за всеми девушками / они не в силах противиться твоей улыбке / О, они тянутся к денди...» Много томления. «Ты всегда будешь свободным». Того «преданного

приверженца моды», которого группа воспела в другом своем хите, тоже нельзя по-настоящему интерпретировать как объект язвительной критики потребления, в крайнем случае это деликатное ироничное подтрунивание. Темой образа денди я позднее занимался во всех деталях, а именно в диссертации о литературе «*Fin de Siècle*» — конца века.

Читая дальше «Эссе об освобождении» Маркузе, встречаешь и проявления восхищения в адрес Кубы, Вьетнама и «культурной революции» в Китае. Тут возникает чувство неловкости — или хуже, когда думаешь об огромном числе человеческих жертв, ответственность за которые несет Мао. Позднее Маркузе уже не пользовался таким высоким авторитетом, вероятно, потому, что он был так легок для понимания. Позже мы читали Адорно и Пауля Целана. Мы, правда, понимали там намного меньше, но зато все звучало весомее.

Для замкнутых сообществ характерен совершенно определенный вид слепоты. «Что видно и чего не видно» («*Was man sieht und was man nicht sieht*») относится не только к тому, что мы не смогли увидеть эпохальные сдвиги 1972/1973 годов. Мы видели и восхищались тем, как социалист и коммунист Сальвадор Альенде в 1973 году пришел к власти в Чили не с помощью кровавой революции, как в России в 1918 году, а в результате проведения демократических выборов. И Пабло Неруда был для многих из нас героем, вторым сразу после Маркузе. А вот чего мы не видели — или не хотели видеть — было то, что Альенде, намного быстрее, чем все коммунисты в ГДР или в СССР, в течение всего нескольких месяцев привел свою страну в состояние экономической разрухи, а людей обрек на горькую нищету.

Меня интересуют такие интеллектуальные картинка-загадки. Очень долго не удастся рассмотреть вторую фигуру. Но если ее наконец-то удалось увидеть, она начинает казаться почти что собственно доминирующим элементом изображения, и нужно приложить усилия, чтобы вызвать в памяти прежнюю картинку. Как вообще можно было увидеть в этом преступнике Мао что-то положительное? Схожее со случаем с Альенде, только в перевернутом зеркальном отображении, произошло годом позже, в 1974 году: моя мама, женщина, далекая от политики, которая, однако, знала, что меня интеле-

ресовали политические дебаты, подарила мне «Архипелаг ГУЛАГ» советского «диссидента» Александра Солженицына, эта книжка в синей бумажной обложке и сейчас еще у меня перед глазами. Не читая, я поставил книгу в книжный шкаф, немного даже стыдясь того, что бы произошло, если бы друзья и сокурсники обнаружили эту книгу у меня на полке. Из страха перед «аплодисментами не с той стороны» (охотно используемая идеологически иммунизирующая формулировка) мы отказывались участвовать в обсуждении преступлений коммунизма. Из-за того, что мне тогда было стыдно перед моими друзьями, мне сегодня стыдно перед моей мамой из-за того, что я тогда внутренне отверг ее подарок. Стыд — это воспоминание, очень тесно связанное с телом. Именно его, видимо, имеет в виду Ролан Барт, когда говорит, что состояние «вызывающей беспокойство близости» при последующем взгляде на собственное детство и юность требует связи с тем, что представляет собой «Оно» моего тела». Нужно попытаться представить себе это, даже если это бесперспективное дело. Речь идет о своего рода интеллектуальной морфологии: как и почему меняется коллективное восприятие одних и тех же событий? Но и: почему оно в одних случаях разрушает картинку-загадку, а в других нет?

Необходимо откорректировать представление о том, что взгляд в прошлое с сегодняшних позиций обладает тем абсолютным знанием, исходя из которого мы можем рассматривать примиряющим взглядом обе стороны картины: что мы тогда видели и думали и что мы тогда не замечали. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже чисто теоретически мы должны исходить из того, что мир и сегодня имеет образ картинка-загадки и мы различаем только *одну* фигуру (молодую девушку? старую женщину?) амбивалентности.

Марк Лилла, который в Колумбийском университете в Нью-Йорке преподает историю политических идей, называет это слепое пятно «амнезией настоящего времени». Он говорит так не только в том общем смысле, в котором любому настоящему недостает понятий для самого себя, но и в некоем вызывающем особое сожаление смысле, согласно которому нам сегодня недостает идеологий. Если раньше, говорит он,

существовала «ностальгия по будущему», различные историко-философские проекты, с использованием которых левые и консервативные проповедники всеобщего блага вели друг с другом ожесточенные идеологические бои, то сегодня мы находимся в «нечитаемой эпохе», которую он называет «либертарной». Либертарным в ней он считает состояние слепого безвременья и отсутствия понятий, забвение бытия, для которого приемлемо всё и вся.

Можно на самом деле пожалеть о том, что слово «идеология» приобрело такую негативную окраску, что оно теперь используется только в отрицательном плане. Хуже сложилась лишь судьба прекрасного слова «мировоззрение», которого у сегодняшнего просвещенного современника не должно быть ни в коем случае. При этом мне всегда хочется спросить моих собеседников, как и откуда они взирают на мир. Точно так же и мои собеседники имеют право на то, чтобы знать мое мировоззрение. Но что в этом вызывает возражения? Субъективность точки зрения? Как будто существует возможность иметь позицию без точки зрения. Как будто это вообще было бы желательно.

Я признаюсь в том, что я пишу идеологическую книгу. Но я также хочу знать, как у людей появляются их идеологии (мировоззрения) и что побуждает их менять эти последние и что они из всего этого вместе с тем хотят сохранить. Лилла называет «любопытство» и «тщеславие» («*curiosity*» и «*ambition*») интеллектуальными страстями левых, которые мы за прошедшее время утратили. Это два мощных живых стимула и чувства, в которых я и сам узнаю себя с гордостью, которую я охотно разделил бы с теми представителями моего поколения, кто и сегодня еще считает себя левым. Конечно, когда эти страсти прорывались наружу с излишней силой, становились слишком воинственными, слишком ретивыми, левое мировоззрение превращалось в догму. Переход от идеологии к догматизму всегда происходит в плавном режиме. Догматизм — это когда мировоззрение отгораживается от жизни, более не реагирует на феномены, становится неспособным к самокоррекции и пустым. Соблазн догматизма либеральному учению чужд не менее, чем левому мессианству, хотя или именно потому что либерализм охотно пред-

ставляется скептическим и прагматичным. Это может быть неким теологическим остатком, которому подчиняется все идеологическое.

Лилла объясняет свой меланхолический диагноз текущей амнезии, в частности, тем, что вопрос «Что осталось от нашей левизны?» («*what's left of the left?*») после 1989 года и краха социализма больше не задавали ни сами левые, ни кто-то другой. Ибо в 1989 году мир пережил одну из самых крупных неожиданных шоковых ситуаций новейшей истории. До сих пор остается в принципе неясно, как могло случиться так, что многие когорты современников не видели или не хотели видеть, насколько в экономическом и политическом отношении прогнили страны социализма, как мощно и спонтанно проявилось стремление этих народов к свободе. Часто цитировалась та поездка шеф-редактора газеты *Die Zeit* Тео Зоммера в ГДР, когда он еще весной 1986 года покровительственным тоном засвидетельствовал этому социалистическому государству, что оно находится на хорошем, стабильном пути и обеспечивает своим гражданам не только равенство, но и растущий уровень благополучия. Западногерманские экономические исследовательские центры также проглядели приближение экономического краха восточногерманского государства, а вместо этого разглагольствовали о конвергенции, в процессе которой обе экономические системы якобы двигались навстречу друг другу.

Я сам могу добавить сюда личную историю, вызывающую чувство стыда: летом 1989 года я по приглашению тамошнего правительства участвовал в продолжительной и организованной на широкую ногу поездке группы журналистов по Индонезии. Штефен Эрлангер, коллега из *New York Times*, спросил — это было уже после так называемого «европейского завтрака» на германо-венгерской границе и после того, как левокатолический реформатор Тадеуш Мазовецкий возглавил правительство в Польше, — могу ли я объяснить ему слухи о предстоящем воссоединении Германии. Вопрос стал для меня полной неожиданностью. С умным видом я разъяснил коллеге, что никто из представителей молодого поколения в Федеративной республике не заинтересован по-настоящему в воссоединении, что все это не следует воспринимать

всерьез. Это было примерно за три месяца до падения стены где-то в отеле на душном жарком острове Бали и находится на самом верху в рейтинге вещей, за которые мне стыдно. Ибо мой ответ, что еще более усугубляет ситуацию, был еще и абсолютно честным. Для меня (нас), в отличие от упертых ГКПистов, ГДР не представляла никакого интереса. Так далеко наша левизна все-таки не простиралась.

На противоположном берегу Эльбы для нас тогда сразу начиналась Сибирь. А кого тянет в Сибирь? Мы на каникулы ездили во Францию или Италию, знали разницу между *Maremma* и *Chianti Classico*. Но отличить Тюрингию от Саксонии мы не могли. Странно, что левые так мало интересовались левой практикой. Возможно, тогда я даже не остановился бы перед тем, чтобы заявить, что ГДР и левое движение не имеют одно с другим ничего общего. К «Эссе об освобождении» Герберта Маркузе страна Ульбрихта и Хонеккера на самом деле не имела никакого отношения. Одна моя знакомая пара — они на несколько лет старше меня и придерживаются левых убеждений — в 1990 году вместе с тремя детьми впервые отправилась в путешествие на восток. Родители ностальгически восхищались «миром прошлого», который там везде еще можно было видеть и аромат которого везде можно было почувствовать, тем миром, который им прежде был совершенно безразличен. Они романтизировали упадок как эстетику декаданса, передвигались по своего рода музею под открытым небом, не испытывая никакого сочувствия к людям, которые там именно в этот момент переживали банкротство своего общества, своей экономики, в чем-то и своей жизни. Дети этих моих друзей из числа «старых левых» хныкали на заднем сиденье и требовали мороженое, солнце и пляж, т.е. хотели путешествовать по Италии, а не по разрушенному музею под названием «Германия». Сразу по ту сторону Эльбы на самом деле начиналась Сибирь.

Могло ли случиться так, что шок и стыд из-за неожиданного краха социализма способствовали тому, что мы уже больше не стремились к поиску взаимопонимания по поводу метаморфоз левого мышления и его альтернатив? Тот, кто провозглашает «конец истории» и для этого без раздумий готов растоптать историко-философскую левую утопию

(«ностальгия по будущему»), которой вдохновлялись целые поколения, не должен удивляться по поводу «амнезии настоящего времени». При этом подозрение в амнезии касается как консерваторов и либералов, так и той поседевшей буржуазии, которая по-прежнему считает себя левой, поскольку это самонаименование улучшает моральный настрой.

Еще раз: почему мы тогда были левыми? Что из этого сохранилось? Почему другие позднее не стали левыми? Почему для многих расстаться со старой верой или придать ей новые, более зрелые формы оказалось не так трудно, как мне? И как далеко моя сегодняшняя позиция влечет меня самого, и насколько она может убедить других или как минимум подвигнуть их к участию в полемике?

Инвентаризация — трезвый процесс, который, однако, не оставляет человека безучастным. Тот, кем я являюсь сегодня, приветствует того, кем я когда-то был. Встреча с самим собой по прошествии сорока лет не всегда протекает просто. Речь идет о прожитом, но необязательно понятом отрезке современности. Биографии других людей — частью несколько старше, частью несколько моложе меня, — о которых рассказывается в разных частях книги, должны помочь внести ясность в диковинное хитросплетение как типичных для когорты, так и исключительно индивидуальных взглядов.

«Вот мой блокнот, моя плащ-палатка, мое полотенце и нитки мои», — говорится в конце стихотворения Гюнтера Айха «Инвентаризация» (1945). Речь идет о том, чтобы воспринять чью-то историю, как свою. Надежда на то, что этот опыт даст толчок параллельным процессам восприятия.

II. ПОЧЕМУ АЛЧНОСТЬ ДЕЛАЕТ СЕРДЦЕ ХОЛОДНЫМ И ГДЕ ЖИВЕТ ТЕПЛО. ПОЧЕМУ КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ СПЛОШЬ ЛЕВЫЕ И КАК ЭТО СВЯЗАНО С НАШИМИ ЦЕННОСТЯМИ

Как у человека вообще появляются ценности, позиции, точки зрения, предпочтения? До решающих событий 1972 года и моего переезда в Тюбинген было ведь уже много ранних влияний. Я рос в центре Штутгарта, где было, правда, много банков, правительственных зданий и универмагов, но не было жилых домов, поэтому с ранних лет два соседа стали для меня особенно важными: церковь и театр. Католическая церковь, буквально стеной к стене примыкающая к зданию банка, в котором мой отец работал комендантом и где находилась наша служебная квартира, после раннего ухода из жизни моей мамы в 1961 году стала для меня чем-то вроде замены чувству безопасности. Как для многих католических мальчиков моего поколения, близкое знакомство с христианской верой началось с прислуживания в качестве министранта. Поскольку это происходило еще до Собора, было, разумеется, большое количество пышных одеяний, много фимиама, много латыни, а на Рождество, Пасху и другие праздники всегда исполнялась большая месса Гайдна или Моцарта с солистами и большим шумом вокруг. В католических мессах, как минимум в то время, присутствовали некая эстетика и театральность, и они служили для маленького министранта подходящим местом самопредставления. Да и дома тоже — мне было шесть или семь лет — часто в форме литургий исполнялись мессы и совершались майские богослужения в честь Девы Марии. Я цитирую великого Томаса Готтшалька: «Моя мама должна была исполнить пять аккордов на пианино, после этого начиналась процессия: я перемещался в гостиную, благословлял присутствующих и, водрузившись на кресло, произносил свои проповеди».

Примерно так же, только без фортепианных аккордов, можно представить себе происходящее и в моем случае. Тогда еще существовали большие процессии по поводу праздника Тела Христова с поклонением Святым дарам, опыт, который

был мне очень приятен. Еще и еще раз повторю за Томасом Готтшальком: «Все мои воспоминания положительные. Для меня церковь в то время значила следующее: романтику костров в молодежных лагерях, фимиам латинских месс и лучи утреннего солнца, которые преломляются в мозаике церковных окон».

После Собора, в конце 60-х годов, нам в эстетическом самоотнесении литургии стало не хватать критического элемента, ибо, как мы считали, христианство также должно было изменять мир, а не только славословить его с большим количеством фимиама. Тогда мы начали ворчать, спорить со священником, называть оркестровые мессы выражением распространенного потребительства, обвиняли литургию в неправдоподобности и высказывались в том смысле, что Иисус жил не для того, чтобы в состоянии некоторого дурмана от фимиама отворачиваться от мира, а для того, чтобы поворачиваться лицом к бедным. Изменение общества с Новым Заветом: это было началом моего перехода на левые позиции. Друзья, которые позднее хотели отвести меня от этого, говоря о католическом социализме, всегда меня этим очень обижали. Поскольку здесь звучит и обвинение в недостаточном анализе, т.е. такая позиция может признаваться лишь как интеллектуально несостоятельная. При этом мы ведь тоже хотели изменить мир, и именно в духе евангелизма.

Изменение мира было и темой второго важного опыта молодости, опыта театра, где я, начиная примерно с пятнадцатилетнего возраста, наверняка раз в неделю, мне ведь надо было для этого пройти лишь сто метров, смотрел все, что там показывали. В большинстве случаев это был Брехт или Шекспир, но было и много другого; при этом большое количество трупов в шекспировских королевских драмах импонировало мне намного меньше, чем левый пафос трезвости у Брехта. Поэтому, в общем, неудивительно, что две эти составляющие раннего опыта моей жизни я превратил в предметы учебы в университете — теологию и германистику. Причем и здесь мой случай отнюдь не единичный, прежде всего, когда для литературы стал важен преподаватель немецкого, который знакомил нас не только с Лессингом и Траклем, но и с правилами языка и который пробуждал страсть к дискутированию.

Делал он это обычно на примере совершенно бессмысленных тем типа «Держать домашних животных полезно или вредно?», чтобы мы упражнялись не столько в вероисповедании, сколько в логическом аргументировании. Лишь позднее к этому добавились рассуждения на экзистенциальные темы, например вопрос «Что лучше — быть мертвым или красным?», ответить на который тогда, до и после 1968 года, было не очень сложно.

«Лучше красный, чем черный» — эти слова потом стали чем-то вроде невысказанного девиза первых тюбингенских семестров. Нужно быть ангажированным, так звучал их категорический императив. Где и в чем — подсказки для ответа содержали горы листовок, неровным слоем покрывавшие столы в студенческой столовой. Поскольку мы считали, что семинар, посвященный отцу церкви Тертуллиану, где в первом семестре пришлось иметь дело с не совсем простыми латинскими текстами, не имеет «общественной значимости» и не содействует реально нашему стремлению быть ангажированными, мы просто взорвали это мероприятие, т.е. потребовали дискутировать не о Тертуллиане и ранней церкви, а о рамочном законодательстве высшей школы и экономике образования, что бы это тогда ни значило, и теологии освобождения в Латинской Америке — разумеется, без профессора по начальной истории церкви, который, по праву обидевшись, покинул «поле битвы». Это происходило намного жестче и не так вежливо, как сегодня, когда активисты «Attac» или «Occupy» заранее записываются на дискуссионные мероприятия. Или, говоря яснее: это происходило достаточно насильственно и содержало в себе некое противоречие, если учесть, что мы любили Иисуса и Ганди и, теоретически, разумеется, выступали за свободу от насилия.

Для того чтобы примкнуть к одной из политически раздробленных групп, мне не хватало мужества, а честно говоря, и времени, поскольку я был старательным студентом, ориентированным на высокие результаты, хотел иметь хорошие оценки, но не всегда мог легко справиться со всем. Некоторое время я присматривался к Международной марксистской группе (GIM). Теперь уже не скажу, были ли это троцкисты или маоисты (Google говорит, что это были троцкисты Чет-

вертого интернационала; в любом случае это лучше, нежели маоисты). Но потом я отказался от этой затеи и был — активным быть необходимо — избран в совет объединения теологов, а вскоре и его спикером. Тогда это, скорее, считалось приспособленчеством. Более радикальные среди нас шли в студенческий парламент и другие органы «организованного студенчества» и самоуправления, как это тогда называлось. Сохраняя все еще некоторую застенчивость, я вносил свой вклад в политическую деятельность в качестве редактора газеты нашего профессионального сообщества под названием «Кукушкино яйцо» (*Kuckucksei*). Недавно я еще раз просмотрел все пять номеров этого тюрингенского периодического издания (потом выпуск этой газеты был прекращен), не в последнюю очередь спрашивая себя, не встретятся ли там некоторые революционные статьи из под моего пера, за которые мне сегодня было бы стыдно.

«При чем здесь, собственно говоря, стыд?» — спрашивает меня одна знакомая, которая на одно поколение моложе меня, и призывает меня проявлять немного больше уважения к самому себе. Это на самом деле похоже на чтение старых дневников: не только записи оказываются незнакомыми, часто даже исчезнувшими из памяти. Но и те чувства, которые автор тогда испытывал, делая записи — и переживая описываемые события. Но надо ли по этой причине сразу испытывать чувство стыда? Может быть, достаточно отстраниться от былого и с должным уважением признать того другого, кем ты когда-то был. Злопамятных не любят. А быть злопамятным по отношению к самому себе чуть ли не намного хуже.

То, что мы тогда печатали с помощью портативной машинки на восковых матрицах и потом вручную четыреста раз «гектографировали», было, как выяснилось при перечитывании, не таким уж и страшным. Там можно было прочесть много жаргонных выражений, которые тогда звучали на каждом углу, например призыв «Христиан за социализм» сразу в первом номере: «Мы выступаем против системы власти капитализма, чья толерантность и готовность к переменам сохраняются лишь до тех пор, пока не возникает угроза для ее интересов, связанных с получением прибыли». Интересным в этом мне сегодня представляется аллегоризирующая

персонализация капитализма. Что мы могли тогда представлять себе под этим конкретно? Единственным конкретным предпринимателем, которого я знал, был владелец фабрики по производству отопительного и сантехнического оборудования по фамилии Мюллер, дружелюбно-сдержанный господин, отец моего школьного приятеля Михаэля, в чьей штутгартской фирме *Stumpf & Müller* я подрабатывал во время школьных каникул. Соединять фланцами трубы между собой было очень трудным занятием, часам приходилось утром тикать ужасно долго, пока стрелки не приближались к девяти — первому перерыву на отдых. Рабочие хохотали над старшеклассником. Об интересах капиталиста Мюллера, касающихся извлечения прибыли, я тогда особенно не задумывался. Но я знал, что я сделаю все, чтобы в будущем не надрываться рабочим на фабрике.

То, что христианство должно быть левым, представлялось мне тогда само собой разумеющимся. Ведь в конечном счете Иисус был защитником слабых и обездоленных, в то время как он критиковал или игнорировал богатых и сильных мира сего. В Нагорной проповеди блаженными назывались те, кто отвергали общество достижений. Они не сеяли, не собирали урожай, они не признавали логику рыночного хозяйства, но отец небесный их тем не менее кормил. Иисус не любит богатых: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в Царствие небесное.

В лоно «Христиан за социализм» нас привела тогда не только утопия эгалитарности. Это, как в случае нашего героя Герберта Маркузе, было еще и обещание всеохватывающего освобождения, которое делало христиан и марксистов естественными союзниками. От «теологии освобождения», требовавшей в Латинской Америке экспроприацию крупных землевладельцев и освобождение безземельных крестьян, исходил импульс к восприятию религиозного в качестве политического и политического в качестве религиозного. Действие и созерцание или, как тогда гласили все эти лиризмы, политическое освобождение (Чили), культурное освобождение (*Kinks* мне нравились больше, чем *Beatles*), сексуальное освобождение: все и вся стремилось к свободе. Что это такое, мы точно не знали. Что бросается в глаза с сегодняшней коло-

кольни? Свободе нужен освободитель. Моисей был тем героем, который вывел иудеев из Египта в страну, где текли реки молока и меда. Вождь? Это не годится. Скажем: предводитель.

Самое жесткое за моим авторством, что я смог обнаружить, была листовка «Христиане в революции», возникшая после поездки с товарищами по учебе на малюсеньком «Ситроене» в Лион на европейский конгресс левых христиан; это было, скорее всего, весной 1974 года. Причиной того, что там я особенно яростно проявлял свои риторические способности, была, вероятно, симпатичная девушка по имени Марлиз, кандидатка на должность протестантского пастора в (тогда особенное левой) Рейнской земельной церкви, которая находилась вместе с нами в «матрасной пещере» в Лионе и чем-то заворожила меня и которой я, в любом случае, стремился радикальным образом импонировать.

Все мои левые друзья из одного со мной поколения, с которыми я сегодня разговариваю о тогдашнем левом проекте, всегда вспоминают о женщинах, которые вовлекли их в левое движение. «Там просто были самые красивые женщины», — рассказывает один мюнхенский адвокат, с которым я знаком уже много лет. Он специалист по трудовому праву, в 16 лет вступил в СДПГ, до сих пор считает себя серьезным социал-демократом, очень начитан и, как многие, является почитателем Вилли Брандта. Он долго хотел стать священником, потом судьей и в итоге стал адвокатом, стремясь внести свой вклад в построение более справедливого мира. Тем необычнее представляется то, что этот серьезный человек с серьезными политическими убеждениями внезапно и так спонтанно говорит о «самых красивых женщинах» среди левых. Просто сорвалось с языка?

В этом возрасте мировоззрение и эротика, очевидно, идут рука об руку. Задним числом на эту тему легко иронизировать, особенно хорошо это получилось у Михаэля Клееберга в его вышедшем в 2007 году романе «Карлманн» («*Karlmann*»). Там передается содержание дискуссии в студенческой столовой в 70-е годы с девушкой из Всеобщего студенческого комитета, которую оба студента слушали только потому, что она оказалась на удивление симпатичной, но, когда она стала убеждать этих двух друзей вступить в КПГ/МЛ или в другую группу,

один из них, не меняя выражения лица, ответил: «Спасибо, я уже состою в ADAC». Звучит красиво, но ни один из моих друзей не позволил бы себе такую вольность.

Удастся ли совладать с этим кипящим движением раннего беспокойства? С тем, что есть в нем непонятного, путанного, мерцающего? Вряд ли. Нечеткое устремление к свободе и справедливости, которое скрывается за всеми этими движениями, еще не проявилось с достаточной ясностью. Ему не хватало направления. Левизна имела, во всяком случае, свое направление, у нее был свой историко-философский вектор: из утраченного рая в новый золотой век. Не то чтобы мы принимали все это за чистую монету. Но это служило опорой и ориентацией. В этом таилась угроза.

Еще раз: Как возникают ценности, позиции и предпочтения, про которые нам известно, что они представляют собой нечто большее, нежели трезвые размышления о соотношении затрат и результатов? Но о которых мы также знаем, что они не представляли собой просто принимаемые нормы, взгляды или предпочтения, которые действовали в тех кругах и сообществах, в которых мы пребывали в ранние годы. Американский философ Уильям Джеймс говорит о «дорефлексивных волевых тенденциях», создающих ценностные рамки. Формулировка, отражающая парадокс, согласно которому решение о признании ценностей предшествует любой сознательной рефлексии, но одновременно все-таки представляет собой акт воли, т.е. как бы свободное решение. Определять нашу жизнь могли бы и иные позиции и мировоззрения. Дело ведь обстояло не так, что каждый молодой человек тогда был вынужден становиться левым. Но это было доминантным образцом, который нам предлагался. Понятие ценностей при этом всегда содержит в себе некоторый вводящий в заблуждение элемент и может быстро вывести человека на неверную дорогу. Ибо оно внушает нечто вещественное, онтологическое, субстанциальное: как если бы ценности, нужные человеку в жизни, были выставлены в магазине ценностей (или, выражаясь несколько платонически-романтически, на небосводе идей) как предметы, где их можно рассмотреть и составить себе небольшой набор ценностей, чтобы в конечном счете,

находясь полностью во всеоружии в ценностном и моральном плане, покинуть магазин указывающих направление жизни принципиальных позиций. Только если избавиться от таких — в их детской наивности особенно четких — представлений, понятие ценностей может быть нами вообще признано. Речь идет не о поддающихся подсчету ценностях, образующих в совокупности мировоззрение, а скорее о неопровержимых жизненных истинах, которые определяют направление не только суждений и оценок, но и действий. При этом ценности имеют более принципиальную природу, нежели предпочтения: ценности определяют предпочтения. Тот, кто стоит слева, тогда сказал бы, что хорошее общество должно быть справедливым обществом. И что для этого требуется акт освобождения. Сказать, что точно имеется при этом в виду, было бы само по себе трудным делом. Ясно было одно: речь шла обо всем сразу. «Лечения симптомов» — любимое уничтожительное выражение тех лет — было недостаточно. Нужно было действовать радикально, выкорчевать зло с корнем.

При этом мы уже тогда назвали бы знаменитую формулировку Руди Дучке о необходимости создания «нового, некапиталистического человека» перегибанием палки, даже если бы мы не стали критиковать содержащуюся в нем манию величия, поскольку мы бы ее просто-напросто не распознали. Главным в формуле Дучке является, между тем, то, что «быть левым» означало нечто намного большее, чем решение о выборе политэкономического направления, как сегодня, предположительно трезво, посмотрели бы на это многие левые. Левизна, грубо говоря, описывает сегодня преференцию в пользу равенства, в то время как состояние неравенства считается неэтичным. Левые, так это следует из преобладающего сегодня дискурса, противятся увеличивающемуся расколу общества, хотят большего перераспределения через налоги или сборы, хотят равенства шансов через большие вложения в образование и т.д. В 70-е годы быть левым означало быть приверженцем жизненной позиции, которая в гораздо большем объеме, но одновременно и в гораздо менее определенной степени была уверена не только в том, что капитализм плохо относился к людям, но и в том, что он испортил все общество и, по сути, и самого человека.

Гигантская индустрия потребления, за которой больше уже не видны и не осознаются «реальные потребности», внушила ему «фальшивое сознание». Целый развившийся в неправильном направлении капиталистический способ производства в трудовой жизни привел к его отчуждению от самого себя. Вместо того чтобы прийти к самому себе, человек в мире капиталистического производства с его разделением труда все больше отдаляется от самого себя. Как потребитель («потребительский террор») и как производитель человек обесчеловечен, так примерно звучала первая главная фраза тогдашней левой антропологии.

Таким образом, «левоальтернативное сообщество», какими бы провинциалами ни казались с сегодняшних высот вяжущие спицами или крючком студентки и студенты в аудитории, хотело быть «предвестником» — любимое выражение Эрнста Блоха — нового, не такого отчужденного мира. Это относилось и к нам, верным читателям Адорно, которые, разумеется, должны были подписаться под непреложной истиной, что не существует «настоящей жизни в фальшивой», т.е. не существует и лучшего мира утопии и что невозможно избежать взаимосвязи отчуждения (типичное выражение Адорно). Однако этот мрачно-апокалиптический сценарий все-таки оказался чужд молодому поколению, намеревавшемуся вступить в жизнь. В лучшем случае Адорно обращался к позднепубертатной меланхолии, которую, однако, если мы были честными, невозможно было выдерживать каждый день. Кроме того, это показывает, как жаргон (который Адорно, как известно, высмеивал у других) влиял на левую среду.

Эта левоальтернативная среда, если оставить в стороне мелкие догматично-марксистские группировки, в 70-е и в начале 80-х годов была намного важнее, чем левая теория. Особенно хорошо посмотреть на альтернативную социальную форму можно было в университетских городах Тюбинген, Марбург и Фрайбург, но, разумеется, еще и в биотопе под названием Западный Берлин и в сельских коммунах в немецком среднегорье. Социологи причисляют к этой среде до 600 000 молодых немцев. Вокруг них группируются еще примерно шесть миллионов сочувствующих. Из этого видно, насколько доминантной и всеобъемлющей эта среда была

тогда в когорте молодых, в каком радикальном меньшинстве оказался бы тот, кто предпочел бы остаться в стороне.

Центральной догмой той среды была фраза «Будь спонтанным и аутентичным». Обществу отчуждения противопоставлялся жизненный проект аутентичности. Под альтернативой, словом, которое становилось все важнее и в конечном итоге даже стало частью «лево-альтернативного списка», понималось следующее: для одних оно должно было означать нечто большее, готовую схему нового общества, однако для большинства это была лишь переходная форма жизни в студенческое и послестуденческое время, за которой после начала профессиональной деятельности, как правило, следовала бюргерская жизнь, ориентированная на родительскую модель. Приверженцы левой альтернативы передавали это жизнеощущение своим детям, причем даже тогда, когда они давно уже зарабатывали хорошие деньги в своих адвокатских конторах и жили в красивых собственных домах. Они не хотели быть авторитарными родителями. И они хотели показать, что жизнь это не только зарабатывание денег, чтобы можно было тратиться на покупки. У упомянутого мюнхенского адвоката, который так неожиданно выразил восхищение красивыми женщинами среди левых, из-за этого позже возник конфликт с его родившейся в 1977 году дочерью. Когда в начале 90-х годов стало считаться крутым в качестве демонстрации протеста против капитализма и вообще истеблишмента как такового выламывать из капотов автомобилей мерседесовские звезды и вешать их в качестве трофея себе на шею, левобуржуазный отец-адвокат задал дочери провокационный вопрос, не видит ли она противоречия в том, что она выступает против компании «Даймлер», но одновременно ее отец каждое утро отвозит ее в школу на автомобиле именно этой фирмы. Дочка соглашается с отцом, но не попадает в ловушку комфорта, а, начиная с этого момента, в течение трех лет ходит в школу пешком, хотя от Богенхаузена до элитарной гимназии имени Вильгельма три четверти часа пути. В любую погоду и в темноте. Она гордится этим проявлением протеста — и я подозреваю, что отец гордится своей дочерью, ибо она последовательна в своих действиях и не ленива. Обвиняет ли дочь отца в том, что он стал ленивым левым? В любом

случае она с моральной последовательностью обогнала его слева. Она до сих пор считает, что не годится — как делает ее отец — будучи левым, нанимать работников-нелегалов. Дочь требует от левых более высокий уровень морали. Обвинения против буржуазных салонных левых бередят душу. Во всяком случае, она не приемлет левую непоследовательность. «Едим торт за Африку», рассказывает она, называлась акция в ее гимназии, инициированная учителями, которые выросли в левоальтернативной среде. Какая бессмыслица, набивать себе свой богатый живот «за» голодающих африканцев.

Хотя левоальтернативная жизнь в Германии в начале 80-х годов утратила свою интенсивность, она очевидно оказала влияние на последующее поколение. Во всяком случае, обязательство, касающееся спонтанности и аутентичности, сейчас оборачивается против левоальтернативных отцов, чьи сыновья и дочери в своем моральном ригоризме обвиняют их в лживости и двойной морали. Спонтанность в 70-е годы была так важна по той причине, что реальная, т.е. фальшивая, жизнь считалась не спонтанной, а лживой. Параллельно с этим проявлялась тоска по единению и теплу, выражению принадлежности, которая противопоставлялась холоду капиталистического мира. Солидарность конкретна, сказали бы тогда, она должна ощущаться на ощупь. И по сей день святой Мартин, который делит свой плащ, считается воплощением солидарности, трогающей душу, в то время как Билл Гейтс, создавший, вложив в это дело более 40 миллиардов долларов, самый большой благотворительный фонд в мире, остается под подозрением как холодный капиталист и никогда не получит шанс стать святым Биллом. Левые имеют собственные формулы своего пафоса; святой Мартин один из самых весомых среди них. У либералов нет таких пафосных формул. Это их судьба и причина их непривлекательности.

То, что капитализм и экономика — вещи жестокие и холодные, — это клише, которое, самое позднее с момента появления новеллы Вильгельма Гауффа «Холодное сердце» (1827), живет и в сегодняшней антикапиталистической риторике. Стоит бросить короткий взгляд на сказку писателя из Швабии: бедный угольщик из Шварцвальда по имени Петер Мунк мечтает о богатстве и славе. Михель-Голландец,

ветренный малый, предлагает ему соблазнительный обмен. Он обещает Мунку много денег с тем условием, что он отдаст ему свое сердце и за это позволит вставить себе сердце из камня. С каменным сердцем в груди Петер перестает воспринимать человеческие порывы, прогоняет свою старую мать и в порыве гнева даже убивает свою молодую жену за то, что она накормила бедного старика. Никому не удастся смягчить каменное сердце. Ни страх, ни ужас, ни сочувствие, ни горе других не проникают в такое сердце. Ведь камни мертвы и не улыбаются и не плачут. В конце концов, и разбогатевший Петер Мунк начинает чувствовать себя в своей шкуре неудобно. С помощью хитрости ему удастся заполучить назад свое сердце, способное чувствовать и сочувствовать. Благодаря этому он снова возвращается в тот мир Шварцвальда, из которого он произошел, где он знает: «Все-таки лучше довольствоваться малым, чем иметь золото и богатства, но холодное сердце». В гауффовской сказке отнюдь не германистика ГДР первой увидела аллегорию зарождающегося капитализма XIX века, даже если ее действие полностью происходит еще в доиндустриальном мире угольщиков, лесорубов и плотогонов. Да и мотив каменного сердца как минимум так же стар, как Библия, где у пророка Иезекии (11, 19) сказано: «Господь сказал: И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Так что каменное сердце всегда было аллегорией грешного, ожесточившегося против Господа духа, даже сознательного мятежа против привилегии божьей милости, как тюрингенский философ Манфред Франк показывает в своем грандиозном анализе литературного учения о холоде. В этом противопоставлении открытого Богу, осязаемого, теплого, исполненного сочувствия сердца и самодостаточного и доверяющего лишь собственным делам, жестокого, холодного сердца может проходить и неосознанная линия соприкосновения между миром образов и романтическим антикапитализмом, который формировал меня в годы моего детства и юности, без того, чтобы я осознавал происходящее.

Однако антагонизм денег, авторитета и власти — в двойном смысле ослепительные виды на блестящую карьеру, —

которые приписываются холоду, и сочувствие, любовь к ближнему, помощь бедным, которые связываются с теплом, указывает у Гауффа (как и во всей романтической мифологии, достаточно вспомнить «Золото Рейна» Рихарда Вагнера!) на современный мир, который в начале XIX века сваливается на людей и внушает им страх. «Капитал» в принятом в начале XIX века значении, так же как и сегодня, просто деньги, но деньги, которые приумножаются: «Сумма денег, отдаваемая в долг за проценты», которая по этой причине растет и в руках заимодавца. Деньги идут в рост — «ростовщичество», это другое слово для ссуживания денег под проценты — всегда означало обещание и угрозу одновременно. Михель-Голландец — дьявольский соблазнитель, новый Мефистофель, который в качестве цены за влекущее богатство хочет превратить чужое сердце и чужую душу в камень. Так же как у Гёте во второй части «Фауста», у Гауффа сами деньги тоже происходят от пакта с дьяволом. Они ослепляют и соблазняют своим золотым блеском, но в конечном итоге ведут к гибели.

Поэт Вильгельм Гауфф, теолог с университетским образованием, считал, что начинающаяся индустриализация и «похожее на везение в азартной игре» процветание благодаря удачной спекуляции капиталом деморализуют общество, разрушают семейные узы и служат почвой для «поиска наслаждений, пьянства, безделья и мошенничества». Деньги пульсируют, как теплое, бьющееся сердце. Но пульс денег — это холодный ритм доходов от процентов и курсов, процесс обогащения, который с самого начала христианско-иудейской традиции считался бесполезным приумножением, по причине чего торговец и спекулянт представлялись холодными, злыми и бесполезными в сравнении, например, с ремесленником, создающим ценности своим собственным трудом. Нужно догадываться о чем-то, что есть в этом мире мифологических образов (в который в начале XIX века вписывается и Карл Маркс), чтобы научиться понимать долгую традицию сердечной символики и ужесточившийся в свое время западноевропейский антикапитализм.

Общее у левоальтернативного, консервативного и христианского сердечного тепла это то, что они черпают энергию из традиции образов романтического мира сказок,

в котором погоне за богатством как греховной жажде наживы отводится место только в царстве неорганического холода. Эта образность в историческом плане оказалась исключительно стабильной. У того, кто за капитализм, холодное сердце, которое перестало биться. Он как бы уже мертв, хотя он живет. А тот, чье сердце бьется, не может быть капиталистом или неолибералом. В изречении, которое неосознанно включено в название этой книги, а именно то, что у того, кто в двадцать лет не стал левым, нет сердца, присутствует сказочный мир Гауффа. Любопытно услышит во второй части этой общеизвестной сентенции, что тот, кто в сорок лет уже не левый, имеет, правда, разум, но тоже холодное сердце. Что хуже?

И что вряд ли может быть увидено и ни в коем случае не может быть переоценено: сердечная холодность в литературной традиции, конечно же, связана с фригидностью и бесплодием, нарциссическим отказом от существования в плоти и крови. «Мама, о горе! Твое жестокое сердце», — причитают неродившиеся в «Женщине без тени» Гуго фон Гофманшталя. Лишь целомудренные девственницы холодны. Мало того, что наживающийся на процентах капитал бесплоден; и сам капиталист, если анализировать это понятие, тоже как бы фригиден. Неудивительно, что самых красивых и желанных женщин можно было увидеть в коммунах левых. Страсть и капитализм или консерватизм взаимно исключают друг друга.

«Эй, не дай себя ожесточить», — пел Вольф Бирман в своем «Ободрении», которое мы все принимали близко к сердцу. Зонг, который звучит почти как хорал, написанный в судьбоносном 1968 году (который был и годом пражской весны), стал чем-то вроде связующего лейтмотива поколения. «Горе тому, кто не откроет свое сердце». На большом концерте Бирмана в Кёльне в 1976 году, который стал причиной лишения его гражданства ГДР, он вновь спел «Ободрение»: быть левым не значило быть за бюрократически-мелкотравчатый социализм гэдээровского образца; было достаточно выступать за лучший мир, в котором не побеждает сердечный холод. Холод делает несвободным. Бирман, который и сегодня, когда его слушаешь, остается великолепным бардом, выдал лицензию на то, что можно было сохранить сердце на левой стороне

груди и все равно считать ГДР чем-то кошмарным. «Не может быть, чтобы это было все, немножко воскресенья и детского крика, немножко футбола и водительских прав», — пел Бирман. Он пел о том, что было у нас на сердце.

Последний раз Бирман спел свое «Ободрение» еще раз в Германском Бундестаге на заседании в связи с 25-й годовщиной падения берлинской стены 9 ноября 2014 года. Что значит спел, — он прохрипел и прокричал его депутатам от ПДС, которым пришлось его выслушать, в лицо. Здесь автор и исполнитель собственных песен сумел превратить свое произведение в антисоциалистический боевой зонг. В том, что он раньше исполнял малопривлекательные социалистические боевые песни, его сегодня необязательно нужно обвинять; но не следует забывать и об этом: «Команданте Че Гевара», например, гимн герою-революционеру, которого он — без всякой иронии — обожествлял как «Иисуса Христа с автоматом». Изображение предводителя повстанцев — черный берет с красной звездой, выющиеся волосы, тонкая гаванская сигара — висело тогда во многих студенческих жилищах. Воля к борьбе, участие в боевых действиях («Ты не стал бонзой, не стал большой шишкой») и демонстративное мужское начало вместе создавали иконографию революционной романтики, которая в Геттингене и Тюбингене представлялась не такой грозной, как в Боливии или на Кубе. Немножко мягче, обворожительнее команданте, между прочим, предстал в исполнении певицы Джоан Баэз (и многих других). Че, убитый в 1967 году в возрасте всего 39 лет американским ЦРУ, был главным святым того времени. То, что он, убитый, хладнокровно убивал людей, предпочитали не замечать. Он ведь воевал за правое дело.

Следуя этой традиции образов, альтернативное движение согрело сердца следующими словами: «Политическим активистам срочно необходима та мера способности мечтать, креативности, сердечности и общности, которая сохранит в них поток тепла, не позволит им превратиться в технократов. Мечтателям новой духовности и альтернативных форм жизни срочно требуется такой политико-экономический глазомер, который позволит им строить свои мечты на длительную перспективу», — пишет историк Свен Райхардт из Кон-

станца. С точки зрения литературной критики такую прозу следовало бы анализировать как чистый кич, с идейно-исторической точки зрения можно было бы показать, как именно в Германии из обращенной в прошлое романтической критики цивилизации и прогресса развилось немецкое движение за реформирование жизни, противопоставившее изначально, аутентичное, непосредственное тепло как психический бастион на пути устрашающего модерна с его холодным опытом. Претензия на аутентичность привела к психологизации повседневной жизни. Психоанализ слишком важная вещь для того, чтобы быть доступным исключительно больным людям, говорил американский терапевт Ирвин Йелом: нужно всегда быть честным, непосредственным, аутентичным. И обеспечивать друг другу обратную связь, «*Feedback*», понятие, прочно вошедшее в моду и показывающее, что жизнь, вопреки всем альтернативным намерениям, иногда может потребовать достаточно больших усилий.

Соответственно претензия на альтернативность проникла во все сферы жизни. Появились альтернативные пивные и кафе, альтернативные магазины для детей, альтернативные формы проживания и так далее. Прилепленное слово «альтернативный» служило как бы сигналом принадлежности. Новая духовность («левый психобум») и новое отношение к телу с его «открытой» сексуальностью создавали экспериментальные поля для альтернативной жизни. Это могло себе позволить поколение, которое было первым, выросшим с противозачаточной пилулей и все больше и больше избавлявшимся от страха перед нежелательной беременностью. Довольно подробно, но при длительном изучении утомительно, это изложено в исследовании Свена Райхардта «Аутентичность и общность» («*Authentizität und Gemeinschaft*»), стандартном произведении о левоальтернативной жизни в 1970–1980-е годы. А тот, кому больше нравится узнавать все в оригинальном изложении, может прочитать содержание вышедшей в 2007 году беседы редактора журнала *Spiegel* Кордта Шниббена в связи с годовщиной событий 1968 года с его левыми бременскими друзьями и подругами тех лет. Старое самосознание сохранилось полностью, ирония держится в приемлемых границах: «Мы жили в убеждении, что

у нас было право вновь изобрести секс, формы проживания, музыку и демократию». Интересно обратить внимание на последовательность.

Под огонь критики попало как материальное, так и буржуазное. Нельзя было придавать значение одежде; прихорашиваться или хотя бы признаваться в этом послужило бы доказательством фиксации на внешнем. Малодетная буржуазная семья считалась не аутентичной, приспособленческой, не «прогрессивной». Заявлять о своих правах стало особенно тяжело частной собственности и владению, этим достойным достижениям правового государства европейского Просвещения. Предубеждения против частной собственности касались как основного закона капитализма, так и ориентации на исключаящие иные варианты отношения пар. Частная собственность имела в любом случае плохую репутацию. Тому, кого обвиняли в «фиксации на обладании», должно было быть стыдно. В первую очередь осторожность надо было проявлять мужчинам, они скоро стали называться «шови» или «мачо» и считались особенно зафиксированными на обладании собственностью. «Я тогда на самом деле чувствовал себя в сексуальном плане неспособным соответствовать предъявляемым требованиям, и все это из-за этой сраной теории, которая утверждала, что нельзя предъявлять претензии на владение. То есть это время для меня выглядело так, что я, с одной стороны, влюблялся, а с другой стороны — должен был мириться с тем, что эта женщина, в которую я влюбился, не может мне принадлежать, и я ей тоже» (Кордт Шниббен). Малейшие признаки, позволявшие сделать вывод о наличии этой культурно-опосредованной страсти подчинения и овладения, жестоко преследовались. Альтернативой претензий на обладание были, правда, взаимозаменяемость и безразборность отношений. А этого как-то тоже не хотелось.

Как и в случае холодного сердца, здесь за пренебрежением к «обладанию» также стоит долгая традиция. «Обладание» презируется как недостойная форма существования. У него всегда была плохая репутация, как показал лингвист Харальд Вайнрих в своем великолепном эссе «Об обладании» («*Über das Haben*», 2012). Еще в перечне категорий Аристотеля (четвертый век до нашей эры) обладание смогло занять